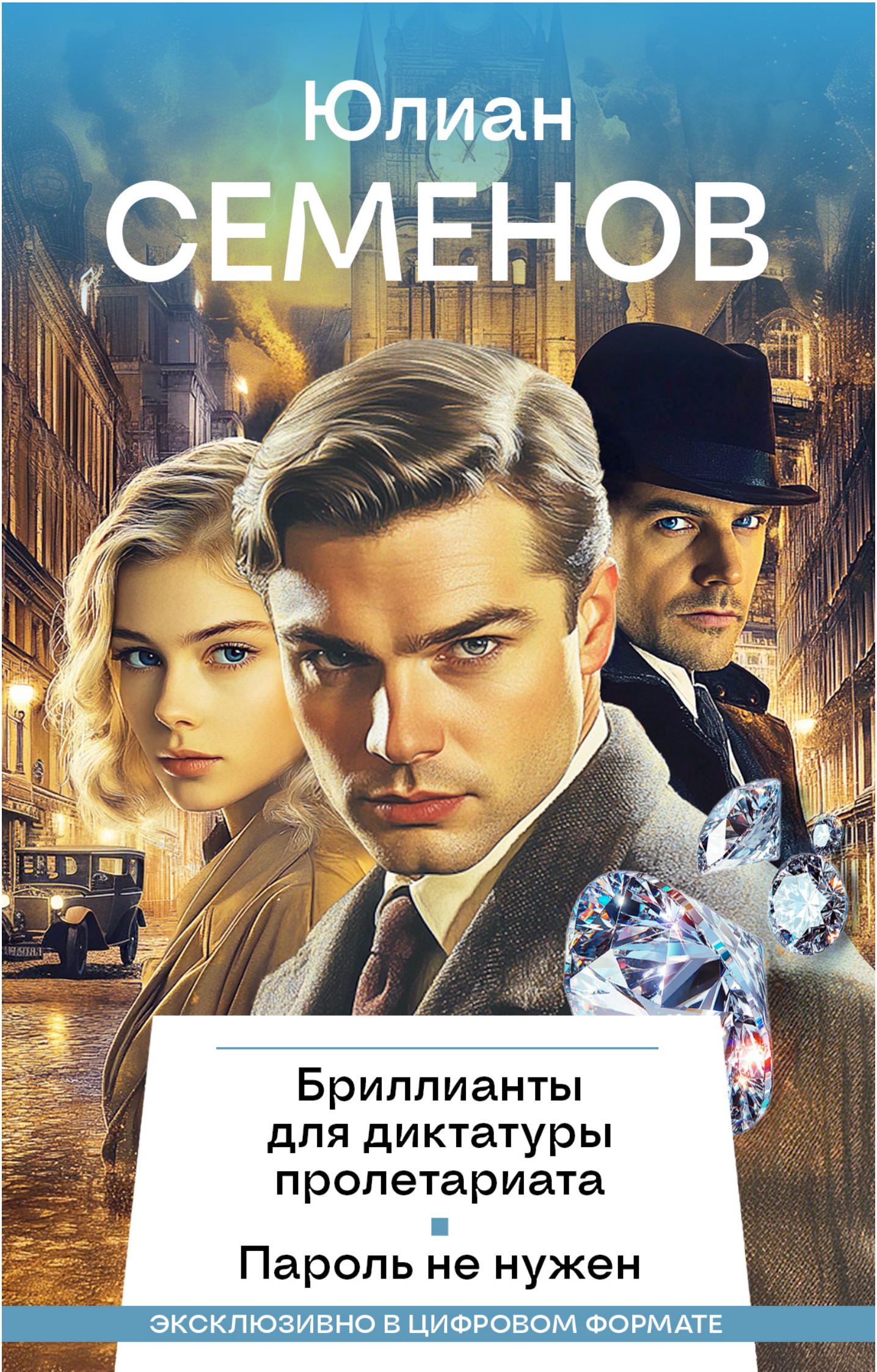

Юлиан
СЕМЕНОВ
Бриллианты для диктатуры пролетариата
Пароль не нужен
ЭКСКЛЮЗИВНО В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Политические хроники

Юлиан Семенов

Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен

«Эксмо»
1964, 1971

Семенов Ю. С.

Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен / Ю. С. Семенов — «Эксмо», 1964, 1971 — (Политические хроники)

ISBN 978-5-04-217298-4

Откройте для себя захватывающий мир разведки в книге, включающей два блестящих романа. В «Бриллиантах для диктатуры пролетариата» Исаев мастерски расследует дерзкое похищение из Гохрана в неспокойные 1920-е годы. А в «Пароль не нужен» вы проследите за захватывающим внедрением молодого разведчика, вступающего в ряды белогвардейцев на Дальнем Востоке. Эти истории не только погружают читателя в эпоху, но и пробуждают острое чувство интриги. Почувствуйте напряжение и азарт, погружаясь в книги, которые с первого взгляда обещают стать фаворитами в вашей коллекции.

ISBN 978-5-04-217298-4

© Семенов Ю. С., 1964, 1971
© Эксмо, 1964, 1971

Содержание

Бриллианты для диктатуры пролетариата 5
Москва, апрель 21-го 5
Начало начал 17
Ревельское интермеццо 25
Расстановка сил 37
В Ревеле ночью 42
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Юлиан Семенов
Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен

Бриллианты для диктатуры пролетариата

Москва, апрель 21-го

– А кто там, в углу? – спросил француз.

Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись:

– Художник… Я забыл его фамилию. Он продался большевикам.

– Талантлив?

– Бездарь.

– А рядом с ним кто?

– Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам.

– Здесь собираются только живописцы?

– Почему? Вон Клюев. Рядом – Мариенгоф. Тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают.

Француз чуть улыбнулся:

– У меня создается впечатление, что ругать друг друга – типично московская манера. Это было всегда или началось после переворота?

Миша не успел ответить: к их столику подошел театральный критик Старицкий.

– У вас свободно? – спросил он.

– Пожалуйста, – ответил Бленер, – мы никого не ждем.

Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе – по пропускам, выданным Цекубу, – ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому толпились здесь люди, знавшие друг друга – если даже и не лично, то уж понаслышке во всяком случае.

– Кто это? – бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. – Кого ты притащил, Миша?

Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку.

Критик сунул карточку в карман и спросил:

– Коминтерновец?

– Скорее антантовец.

– Тогда бойтесь Мишу – он тайный агент ВЧК.

– Какая ты скотина, – попробовал улыбнуться Миша, – вечно несешь вздор…

– Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шарахаюсь – даже своего, доморощенного, а уж к чужому подойти – спаси господь, сохрани и помилуй! Ничего, ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены.

– Вы думаете, что «галиматья» все же кончится? – спросил Бленер.

– Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некоей надмирной системе, управляющей нами по своим, непознанным законам.

– Всякие изменения в этом мире определяются личностями, – заметил француз. – Упования на заданную надмирную схему – своего рода гражданское дезертирство.

– А что ж, мне наган в руки брать прикажете?

– Отнюдь нет… Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего…

– В России ясной картины не было и не будет: у нас – каждый сам по себе Клемансо. И потом – ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?

– Всякий журналист – в определенной мере лазутчик.

– Значит, интересует ясность… – вздохнул Старицкий и продекламировал: – «Нет смерти почетнее, как смерть на благо родины, и она не может испугать честного и истинного гражданина». Александр Ульянов. Брат Ленина. Вот это и придет вскорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась – брат против брата.

– Вы предпочитаете цитировать Ульянова… Жертвенность смертников не очень вам симпатична – в личном плане?

– А по какому праву вы так со мной говорите?

– Как? – не понял француз. – Я спрашиваю. Я не понимаю, как может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить.

Бленера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены; при этом никто из них не говорил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался. Поначалу Бленер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей: «Россия на грани взрыва». Но, встретившись с Литвиновым[1], который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить.

– Вы спрашиваете о так называемой творческой оппозиции? – спросил Литвинов. – Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал: «Кто больше говорит, чем пишет, тот исписывается, не написав ничего толком». С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль: Маяковский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шокальский, Обручев, Графтио, Губкин; с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев… Им приходится порой трудновато – как и всюду, у нас есть свои идиоты и завистливые ничтожества в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной, заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции…

Литвинов порылся у себя в столе, бросил французу газету:

– Это ваша. Поль Надо – быть может, вы его знаете? Он из Парижа, тоже, – Литвинов снова усмехнулся, – журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной – об эсерах и кадетах. Он с ними в Бутырской тюрьме посидел.

Бленер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы: «Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка, как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те в свою очередь – предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы не лишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти ораторские словопрения, которые так ничем и не кончились… Через три дня в камеру с воли доставили для членов партии с.-р. корзины с продуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не выдержал, поднялся

[1] Умер накануне ареста в 1951 г. (Здесь и далее примеч. автора.)

и сказал: «Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов». Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей с.-р., которые принялись жевать быстрее. Наконец, один из них сладким голосом произнес: «Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим! Намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей, – добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. – Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи! Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено». И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи».

– Каково? – спросил Литвинов. – Если бы написал большевик, а то ведь – ваш брат, буржуй… Нас терпеть не может, но и он сказал – после освобождения: «Лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те – как медузы перед штормом, неохватны и зыбки».

…И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Бленер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято: перед глазами стояла статья Надо. Он знал его – это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду.

Когда Старицкий отошел от них, Бленер спросил:

– Он издал что-либо?

– Он не способен написать и двух строк! Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК – так это он, уверяю вас.

Писатель Никандров – высокий, жилистый, заметный – вошел в полуподвальчик, когда стемнело.

– Кто это? – сразу же спросил француз.

– Леонид Никандров, литератор.

– Тоже бездарь?

– Как вам сказать… Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом… Не борец, совсем не борец.

Француз представился Никандрову сам, попросив дать короткое интервью.

– Садитесь, – хмуро согласился Никандров, – только пусть спутник ваш обождет за другим столом.

– Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами, – ответил Бленер и, чуть обернувшись, громко сказал: – Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю.

Миша угодливо раскланялся с французом и подсел за другой столик: там громко шумели поэты.

– У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России – в литературе, живописи, в театре?

– В литературе – я, – улыбнулся Никандров. Улыбка сделала его жилистое, напряженное лицо совершенно иным – каким-то неуклюже-добродушным, открытым. – Это если по правде. В принципе я должен ответить: Бунин, Горький, Блок.

– Бунин в Париже, а меня интересует Россия.

– Бунин может быть хоть в Америке – он принадлежит только России.

– Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?

– А вы убеждены, что *эта* Россия навсегда останется *этой*?

– Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке.

– Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится.

– Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой.

– А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе.

– Где я могу купить ваши книги?

– Меня не очень-то издают здесь…

– Я готов помочь вам с изданием в Париже.

Никандров внимательно посмотрел на француза и ответил:

– За это спасибо, коли серьезно говорите.

– Я говорю серьезно… Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить, кого вы здесь цените из живописцев?

– Талантов у нас – много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин… Да не перечтешь всех… А Коровин, Нестеров?!

– Я благодарю бога, – широко улыбнулся француз, – вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты.

– С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой, – Никандров кивнул головой на посетителей столовой, – смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров – те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них – хвосты подожмут и в кусты. Но говорят – «талантов здесь нет»…

– Талантам трудно здесь?

– А где таланту легко? Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду, а она – всегда в нем, в его мировидении.

– Вы не согласны с Марксом – «человек не свободен от общества»?

– Не согласен. Человек рожден свободным: никто ведь не отнимал у него права распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.

– Определенные ограничения введены и на этот счет: несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой.

– После меня хоть потоп.

– Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах.

– Пусть литератор думает о себе. Но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан, право слово.

– Вам трудно жить здесь с такими настроениями?

– Мне трудно здесь жить. Но не от настроений.

– Собираетесь покинуть Россию?

– Да. Я хлопочу о паспорте.

– Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга.

Никандров поднялся:

– Пойдемте из этого борделя…

На улице дул студеный ветер.

– Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого Лобного места, как в Москве. Знаете, что такое Лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте: о жестокостях в истории Российского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь, – продолжал Никандров. – Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, – о жестокостях помалкиваете, но ведь жестоки были – отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд… Мы – евразийцы! Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших матерей – отсюда у нас столько татарских фамилий: Баскаковы, Ямщиковы, Ясаковы; отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы во гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занятен в оценке своей истории, как мой: глядите, Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где

оккупант Кончак выведен человеком, полным благородства, доброты и силы. И это не умаляет духовной красоты Игоря, а наоборот! Или Пушкина возьмите… На государя эпиграммы писал, ходил под неусыпным контролем жандармов, с декабристами братался, а первым восславил подавление революционного восстания поляков… Отчего? Оттого, что каждый у нас – сфинкс и предугадать, куда дело пойдет дальше, – совершенно невозможно и опасно.

– Почему опасно?

– Потому что каждое угадывание предполагает создание встречной концепции. А ну – не совпадет? А концепция уже выстроена? А Россия очередной финт выкинула? Тогда что? Тогда вы сразу хватаетесь за свои цеппелины, большие Берты и газы, будьте вы трижды неладны…

– Я понимаю вашу ненависть к своему народу – это бывает, но при чем здесь мы? Отчего вы и нас проклинаете?

– Ну вот видите, как нам трудно говорить… Я свой народ люблю и за него готов жизнь отдать. А вас я не проклинаю: это идиом у нас такой – фразеологический, эмоциональный, какой хотите, – но лишь идиом. Русский интеллигент Париж ценит больше француза, да и Рабле с Бальзаком знает куда как лучше, чем ваш интеллигент, не в обиду будь сказано.

– Действительно, понять вас трудно. Но, с другой стороны, Достоевского мы понимали. Не сердитесь: может быть, уровень понимания литератора возрастает соответственно таланту?

– Тогда отчего же вы в Пушкине ни бельмеса? В Лермонтове? В Лескове? Мне кажется, Европа эгоистически выборочна в оценке российских талантов: то, что влазит в ваши привычные мерки, поражает вас: «Глядите, что могут эти русские!» Я временами боялся и думать: «А ну, родись Гоголь не в России – его б мир и не узнал вовсе». А вот Пушкин в ваши мерки не влазит. Только его запихнешь в рамки революционера, он выступает царедворцем; только-только управишься с высокой его любовью к Натали – так нет же, нате вам, пожалуйста, – лезет ерническая строчка в дневнике о том, что угрохал Анну Керн…

– А не кажется ли вам, что большевики замахнулись не столько на социальный, сколько на национальный уклад?

– Это вы к тому, что среди комиссаров много жидовни?

– По-моему, комиссаров возглавляет русский Ленин…

– Пардон, вы сами-то…

– Француз, француз… Нос горбат не по причине вкрапления иудейской крови; просто я из Гаскони… Мы там все тяготеем к путешествиям и политике. Любим, конечно, и женщин, но политику больше.

– Если вы политик, то ответьте мне: когда ваши лидеры помогут России?

– Вы имеете в виду белых эмигрантов и внутреннюю оппозицию? Им помогать не станут – помогают только реальной силе.

– Значит, никаких надежд?

– Почему… Политике чужды категорические меры; это не любовь, где возможен полный разрыв.

– В таком случае политика представляется мне браком двух заклятых врагов.

– Вы близки к истине… И дело не в нашей капитуляции перед большевиками: просто-напросто мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна.

– Вы сочувствуете большевизму?

– Большевики лишили мою семью средств к существованию, аннулировав долги царской администрации. Мой брат, отец троих детей, застрелился – он вложил все свои сбережения в русский заем… Но я ненавижу не большевиков; я ненавижу слепцов в политике.

– Погодите, милый француз, вернем мы вам долги. Народ прозреет, и все станет на свои места…

– А как быть с народом, который безмолвствует?..

– Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя.

– Под чье же знамя может стать народ? Под знамя того, который провозгласит: «Вернем французскому буржую его миллиарды»?

Никандров вдруг остановился и тихо проговорил:

– Пропади все пропадом, господи… Я всегда знал – чего не хочу, а чего – желаю. Скорей бы вырваться отсюда… К черту на кулички! Куда угодно! Только б поскорей… Ну, вот мой подъезд. Пошли, я поставлю чаю и покажу вам рукописи…

Поднимаясь по лестнице, Бленер сказал:

– Вы первый абстрактный спорщик, которого я встретил в Москве. Все остальные лишь бранят друг друга. А вы не останавливаетесь на частностях…

– Так вы – иностранец. Вас частности более всего интересуют, общее – у вас свое… Буду я вам частности открывать! Я мою землю, кто бы ею ни правил, люблю и грязное белье выворачивать вам на потребу не стану. Я есть я, интересую я вас – милости прошу, а нет – стукнемся задницами, и адье…

Чичерин зябко поежился и накинул на плечи короткую заячью безрукавку. Левый висок тянуло долгой, нудной болью: долго сидел над документами – дипкурьеры только что привезли последнюю почту из Берлина и Лондона.

Иоффе в своем подробном донесении из Берлина писал:

> «Канцлер заявил мне, что он считает русско-германское сотрудничество барьером на пути политического экспансионизма Франции и экономического натиска Англии. Он считает, что главным препятствием в осуществлении плана экономического и культурного обмена будут не столько внешние силы, сколько внутренняя оппозиция со стороны мощного рурского капитала. Ратенау подчеркнул, что безответственная жестокость контрибуции, наложенной Версальским договором на Германию, позволяет сейчас изолировать крайний экстремизм германского капитала, ибо производители – рабочие и крестьяне, а также патриотически настроенная интеллигенция будут, безусловно, поддерживать кабинет в его попытках наладить равноправные отношения с великой державой – пусть даже этой державой окажется коммунистическая Россия…»

Красин сообщал из Лондона о том, как протекали его последние беседы с представителями трех ведущих сталелитейных фирм и с секретарем Ллойд Джорджа. Он писал:

> «Англичане так уверены в своем могуществе, что не находят нужным скрывать узловые моменты, представляющие для них стратегический интерес. Мистер Энрайт, в частности, прямо спросил меня: «В какой мере французский капитал будет ограничен вами не только в России, но и в сопредельных странах и как вы думаете помогать британским предпринимателям в создании барьера против возможного возрождения германской промышленной мощи?» В отличие от прошлых бесед, заметна узкая конкретность в постановке вопросов, что свидетельствует о серьезных намерениях контрагента».

Чичерин отошел к кафельной печке, крепко прижался спиной, ощутил медленное тепло и закрыл глаза. Улыбнулся.

«Засуетились, – подумал он. – Поняли наконец, что правительство Ленина через три недели не „рухнет окончательно и навсегда“».

Чичерин вернулся к столу, поднял трубку телефона, вызвал Карахана.

– Как у нас дела с краткосрочными курсами французского и английского языка? – спросил он. – Пожалуйста, возьмите это дело под свой строжайший контроль. Нас всегда подводят

досадные мелочи: признать – нас уже признают, а вот дипломатов, которые это наше признание смогут неуклонно обращать на пользу делу, – у нас, увы, раз-два и обчелся.

«765. 651. 216. 854. 922. 519… 648. 726. 569. 433… 113. 578. 723. 944… 137. 649. 523. 966. 483… 465. 282. 697. 193[2]… 66[3]…»

«Дорогой Огюст!

Рад, что могу с помощью друзей переслать тебе весточку. Совсем ты забыл нас. Как тетя Роза? У вас, наверное, расцветает, а здесь совсем замерзла – наш климат не для нее. Игорек занимается с утра до ночи: в вуз поступить ему довольно трудно, поскольку нет необходимого сейчас в республике трудового стажа, однако мальчик он талантливый, и мы все надеемся, что он станет истинным инженером-путейцем. Его прежнее увлечение геологией проходит: никто, кроме дяди Ивана, не может консультировать его в полезных ископаемых Сибири, а дядя Иван так занят своими делами, что ему не хватает времени для нормального сна. У него к тому же скачет кровяное давление от 150 до 190. И здешние доктора с этим пока ничего не могут поделать, лечим его грибной диетой – говорят, это сейчас в новинку. Насушили за лето две связки по 50 и 300 штук. Хватит этого на всю зиму, но поможет ли это Ивану – боюсь и подумать. Если сможешь – вызови к себе в Париж Лелечку на два-три месяца. Паспорт ей дадут наверняка, если ты проявишь настойчивость и докажешь необходимость ее пребывания у тебя не только как родственницы, но как человека, в совершенстве знающего твою манеру писать сольфеджио на слух, без нот. Если сможешь – перешли мне с оказией несколько банок какао. Жду твоих писем[4].

Любящий тебя дядя[5]».

«25. 67. 41. 5982. 6. 3519. 4. 69. 416. 5. 8893. 14. 9. 6421[6]».

«Я, агент Угро Можайского уезда Московской губернии Волобуев Р. Р., составил настоящий акт на задержание гр. Белова Григория Сергеевича. Обстоятельства задержания: гр. Белов Г. С. прибыл на поезде из Москвы и стал приискивать себе извозчика, чтобы ехать в деревню Воздвиженку. Все извозчики были уже разобраны трудящимися, однако Белов, находясь в состоянии некоторого опьянения, достал из портфеля золотые часы луковицей системы «бр. Буре» и предложил извозчику Кузоргину Африкану Абрамовичу ихнюю крышку чистого золота, если он скинет своих ездоков и доставит его, гр. Белова, в деревню. На основании этого гр. Белов был мною задержан и доставлен в отделение ж.-д. милиции».

---

[2] «Дзержинскому. Источники, близкие к министерству финансов, утверждают, что в России существует подпольная организация, занимающаяся хищением бриллиантов и золота. Ценности эти переправляются – или должны быть переправлены – в Ревель и Антверпен».

[3] 66 – кодовое обозначение Романа, советского резидента в Ревеле, – Шелехеса Федора Савельевича.

[4] «Директору фирмы Маршан, Париж. Цена, утвержденная Наркомфином на бриллианты в карат и полтора карата, – 1500 рублей. Жемчуга в нитках некруглые – от 50 до 300 рублей золотом. Жемчуга парные, круглые, а также в нитках – от 50 до 200 рублей карат. Платина оценивается по 80 рублей за золотник. Золото – по 32 рубля за золотник девяносто шестой пробы. Отказывайтесь покупать у большевиков драгоценности по их ценам; они ситуации в нашем деле не знают. Нас же здесь всего двое: Пожамчи и я. Срывайте их торговые операции: единственно это сможет вывести нас на прямые контакты с вами. В случае, если большевики, поняв невозможность реализации бриллиантов, выпустят нас в Ригу или Ревель, мы привезем с собой достаточное количество товара. Иного пути в наст. время не вижу».

[5] Любящий дядя – псевдоним главного оценщика бриллиантов Гохрана РСФСР Шелехеса Якова Савельевича.

[6] «Чичерину, Крестинскому. Переговоры с представителями торговых фирм Шомэ, Маршан и Тарлин окончились провалом. Предлагают мизерные суммы за бриллианты, сапфиры и изумруд. Ганецкий» (Ганецкий – посол РСФСР в Риге. Расстрелян в 1937 г.).

– Подпишитесь, – предложил Волобуев, – вот тут, в уголку.

– Не в уголку, а в уголке, – поправил его Белов, – представитель власти должен грамотно выражаться. А подписывать я вам ничего не стану.

– Это как же так?

– А вот так.

– Если с чем не согласный вы – так измените, мы еще раз перепишем, а подписать положено, у нас все подписуются, когда мы забираем.

– На каком основании вы меня забрали?

– А зачем часы портить? Так часы бандюги суют, у которых законных денег нет, а только краденое народное барахло трудящих!

– Я – ответственный работник, ясно? Лучше вы сейчас меня отпустите – тихо и по-хорошему, иначе я через Москву большие вам неприятности устрою…

– У меня на испуг нерв крученый! Пугать не надо…

Дверь милиции растворилась, и в маленькую, насквозь прокуренную комнату милиционер ввел двух женщин-нищенок с грудными детьми. Мальчишка и девчонка лет пяти держались за юбки женщин. А паренек лет десяти юрко вырывался из милиционерской сухой крестьянской руки и грязно, с вывертом матерился.

– Ну чего? – спросил Волобуев. – Что случилось, Лапшин?

– С Поволжья оне, а мальчишка по карманам шарит…

– Сади их в камеру, там разберемся…

– Ах, гадюка, гадюка, – горько сказала одна из женщин, черная, простоволосая, – сам небось хлеб жрешь, а у меня в цицке молока нет, вон дитя угасает… А Христа ради тряпки подают – у самих хлеба нет, а за тряпку кто ж денег ноне даст? Вот Николашка и шарит за бумажками-то, братьев своих да сестер спасаючи.

– Пусти мальчонку, Лапшин…

– Так кусается он, товарищ Волобуев…

– Значит, жить будет, – хмуро усмехнулся Волобуев, – раз зубы не шатаются.

Он выдвинул ящик стола, достал черствый ломоть хлеба, отломил половину и протянул мальчишке:

– На.

Тот взял хлеб и, разделив его в свою очередь пополам, протянул женщинам.

Волобуев засопел и отдал парню тот кусок, что решил было сохранить для себя…

– Идите, – сказал он. – Пусти их, Лапшин…

Когда женщины ушли, Белов сказал:

– Жулика отпускаете, а честного человека… Мужик и есть мужик, хотя и в форме…

Волобуев тяжело посмотрел на румяное, юное, безусое еще лицо этого красивого, постарорежимному одетого юноши, заскреб ногтями по кобуре, вытащил наган и взвел курок. Он бы пристрелил этого сытого, розовенького Белова, но тот закричал так страшно и пронзительно, что Волобуев враз отрезвел и пелена спала с глаз, только челюсть занемела и руки ходили как в пляске.

– Все скажу! – кричал Белов. – Не стреляйте! Здесь они! В портфеле! Тут! Не стреляйте, дяденька!

Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятал наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.

Волобуев долго сидел возле этой горки золота и медленно трогал каждый предмет руками… Потом – неожиданно для себя самого – уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл – на одной ноте, страшно, по-бабьи…

– Хочешь – все забери, только меня – Христом-богом молю – выпусти, – услышал он у себя за спиной голос Белова. – Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не произнесу, дяденька…

Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:

– За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот – все, что есть, ложите на стол.

В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:

> «Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько – и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате).
>
> Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, – ты последнюю рубаху мог отдать другу.
>
> А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так – изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе – не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК.
>
> *Твой бывший друг, а ныне знакомый Кузьма Туманов».*

– Где Туманов проживает? – спросил Волобуев.

– На Палихе.

– Палиха – это что такое?

– Улица это в Москве.

– Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.

– Дом двенадцать, квартира шесть «а».

– Это как так шесть «а»? Пять – есть пять, шесть – будет шесть, а если семь – так и надо говорить.

– Быдло проклятое! – закричал Белов. – За что же ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял? Не стану! – И тут Белов бросился на агента угро, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплеванный пол.

– Не допрос у нас с тобой, – заметил Волобуев, отходя к двери, – а взаимная истерика. Только если когда я вою – так я по голодающим вою, а ты звереешь по своим часам да монетам, сука поганая.

Он распахнул дверь и закричал:

– Лапшин! Эй, кто-нибудь там, Лапшина найдите, пущай он понятых пригласит и сюда топает, тут у меня буржуй пол слюнявит и пятками зад молотит.

В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии прострации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.

Председатель МЧК Мессинг[7] наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».

Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова – Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.

Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:

– Доктор, а если я чистосердечно – не пострелляют?

– Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю… Нуте-ка, ножку на ножку…

– Да, господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся – весь в поту. Все глаза боялся открыть – думал, вот бы сон это был, вот бы сон… Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл – а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило – отлежал на нарах, – все равно приятно… И в парашу пописать – тоже сладостно так, нежно…

– А раньше о чем думали? – спросил доктор. – Когда начинали все это?

– Вы пьяный о чем думаете?

– Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был…

– А я пьяный – дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть – плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.

– Вы как в смысле секса?

– Секс – это половой акт?

– Почти, – доктор не смог сдержать улыбки.

– Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.

– В роду у вас больных падучей не было?

– Не псих я, доктор, не псих… Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть…

Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.

Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг.

– Какие у вас претензии? – спросил он Белова. – Почему голодовка?

– Потому что меня не допрашивают.

– Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.

– Мне каждый день в неведении – как смерть… Я на себя руки наложу!

– В отношении наложить на себя руки – мы этого постараемся не допустить. – Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: – Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.

– Ясно, товарищ Мессинг.

– Что еще имеете заявить, Белов?

– А вы мне что имеете заявить?

– Не паясничайте!

[7] Расстрелян в 1937 году.

– Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения… Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?

– Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить… А если он торгуется – «вы мне за покаяние булку», – тут у нас разговора не будет…

– Я не булку прошу, а жизнь…

– Пока ставите условия – разговора у нас не получится. И с голодовкой – прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите.

– Почему вы так жестоко со мной говорите?

– Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять – прямо здесь, не сходя с места… Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!

– Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! – закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. – Я жить хочу! Мне надобно жить – я ведь молодой, глупый!

– Свою голову надо иметь в двадцать лет… Мне – двадцать шесть, кстати говоря. Хотите – напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, – неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, – и чем подробнее напишете – тем будет лучше…

– Для меня?

– Больше, конечно, для нас, – усмехнулся Мессинг, – но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь – докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном…

«Молчи, кругом молчи, – вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. – Как бы ни было тебе страшно и плохо – молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год – на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом – не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили – что ты… это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время враз в расход списывает».

– Ничего я писать не буду, – сказал Белов наконец. – Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему – не надо.

– От мерзавец, – удивленно протянул Мессинг, – ну каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану – как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш…

Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[8], попросив его об этом никому больше не сообщать.

– Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.

– Такие фокусы мне не очень-то нравятся, – ответил Альский, – но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу – в виде исключения.

– Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.

– Сколько?! – ахнул Альский. – Не может быть!

– Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.

– Кто оценивал?

– Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.

[8] Расстрелян в 1937 году.

– Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?

– Где вы там видели коллектив?

– А Шелехес? Пожамчи? Александров? Левицкий, наконец, старый спец, который прекрасно работает?

– Помимо названных товарищей там трудится еще много народа. И у меня есть к вам просьба: было бы целесообразно ввести троих наших людей к вам – под видом рабочих. Как вы к этому отнесетесь?

– Отрицательно, – ответил Альский. – Неужели вы не верите, что мы сами сможем навести там порядок? Я назначу ревизию, брошу настоящих специалистов – зачем же считать Гохран каким-то притоном?

– Глядите… Я не имею права вторгаться в ваши прерогативы, но Феликсу Эдмундовичу я об этом деле доложу.

Начало начал

Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф-Стопанский, досье на которого было весьма пухлым (Стопанский был сотрудником второго отдела польского генштаба), беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров[9] отправил – по совету Дзержинского – помначинотдела Всеволода Владимирова.

– Всеволод с его блеском, – сказал Феликс Эдмундович, – в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского: зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно: у него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин.

Встретился Всеволод со Стопанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал:

– Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле, – он усмехнулся, – кажется, так у вас говорят о «не тюрьме», тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам.

Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал:

– Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает – особенно с таким интересным собеседником.

…Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией – он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли.

Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.

– Так что же вас привело ко мне? – спросил Всеволод.

– К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.

– Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди…

– Представляться мне надо?

– То есть?

– Звание, операции, связи?

– Вообще-то мы знаем вас.

– Вы знаете, что я подполковник польской разведки?

– Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Нет?

– Вы думаете, я стану писать?

– Станете. Если вы затеяли что-то против нас – вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно: с фамилий ваших друзей, близких и родных. Разве нет?

– Браво!

Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стеф-Стопанский.

---

[9] Расстрелян в 1941 году.

В свою очередь Всеволод отметил, что поляк небрит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.

– Браво! – повторил Стопанский. – Вы четко мыслите, молодой человек…

– Иначе не стоит.

– Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость…

– Этим нельзя обидеть. Наоборот…

– Я не знаю, – сказал Стопанский, начавший отчего-то злиться, – приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб, но хочу заметить: польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.

– Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?

– Естественно.

– Операции?

– Старые?

– Новые тоже.

– Те, которые собирается проводить Лондон и Париж, – я не знаю. Но их операции меня не минуют – я считаюсь специалистом по Совдепии… Когда доложите начальству об этой беседе? Можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?

– Это мы устроим, – пообещал Всеволод.

– Когда?

– Дней через семь.

– Это невозможно…

– Ну, что ж делать…

После долгой паузы Всеволод спросил:

– Когда вас обокрали?

Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг – мозг аналитика, человека смелого и веселого, автоматически проанализировал факты: из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую: во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы; во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет; в-третьих, Стеф-Стопанский слыл щеголем и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен; в-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее.

Стеф-Стопанский брезгливо поморщился:

– Ваша работа?

– Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? – не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.

– В Европе вы не жили?

– Жил.

– Видимо, в среде эмиграции… Взаимовыручка, товарищество и так далее… Молодой чело… Простите…

– Да нет, господь с вами, пожалуйста, пожалуйста… Мы ведь чины не возрастом выслуживаем.

– Деловыми качествами?

– Именно.

– Кто в Европе «просто так» дает деньги?

– Заявите, что вас обворовала ЧК… Неужели на обратную дорогу не вспомоществуют?

– Браво! А в Варшаве что делать?!

«Оп! – сказал себе Всеволод. – Мышка попалась! Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он что-то важное тащил в портмоне или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую».

– Закуривайте, – предложил Всеволод.

По тому, как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна.

– Зайдем в трактир? – предложил Всеволод.

Заказав Стопанскому извозчичьей колбасы, холодца и пива, он сказал:

– В ресторан, видимо, идти нет смысла: там могут быть ваши знакомые.

Стопанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог – колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок и сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо…

После обеда Стеф-Стопанский закрыл глаза и сказал:

– А теперь за час сна – полжизни…

– Пошли ко мне: там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.

– Пожалуйста…

– Вам фамилия Бечковский ничего не говорит?

– Нет.

– А Кряковяцкий?

– Нет.

– А Леснобродский?

– Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.

Нота полномочного представителя РСФСР в Польше министру иностранных дел Польши Скирмунту

«В течение последних недель в Российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом II-го отдела Польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять Российскому правительству официальные секретные документы из Польского генерального штаба. В Российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в Российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями II-го отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500000 марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру г. Домбскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр г. Домбский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя министерства иностранных дел. В полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его. Отсутствие в деле первого показания

г. Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента II-го отдела генерального штаба поручено было непосредственным начальником, майором Кешковским, войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной II-м отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи Российскому полномочному представительству.

В то время как Российское и Польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, Польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей.

В последнюю неделю в Российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные лица, которые представляли удостоверения II-го отдела Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства.

В свое время, когда Российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу II-го отдела генерального штаба в контакте с «Народным союзом защиты родины и свободы», возглавляемым Савинковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты II-м отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое Русское правительство предъявляло Польскому генеральному штабу.

Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против Российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая Польским генеральным штабом.

Представляя при сем 1) одну копию протокола, составленного 10 октября в Российском полномочном представительстве, 2) удостоверение полковника Леснобродского за № 3835, выданное II-м отделом Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, 3) все документы, доставленные в Российское полномочное представительство для продажи по поручению II-го отдела того же штаба г. Леснобродским, имею честь просить вас, господин министр, предпринять шаги, которые вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы II-го отдела Польского генерального штаба, которая ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей.

Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении.
Карахан[10]».

[10] Расстрелян в 1937 году.

Ноту эту Стопанскому показали ночью, сразу после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским: поляк дал много интересных подробностей. Ноту в целом Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее.

Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.

– На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция.

Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей: от крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стопанскому фамилии лидеров комитета содействия эмигрантам и беженцам: Вырубова, Львова, Зеелера, Оболенского, редакторов кадетских «Последних известий» Ратке и Ляхницкого в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно, но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается.

Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь своекорыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном: драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией.

– Мне сдается, что один из моих здешних друзей – их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, – сказал Стопанский, – связан с этим московским подпольем, но в корыстных, личных целях – он покупает драгоценности для себя, и у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги – две тысячи долларов, – об этом разговор впереди…

– А если мы своими возможностями найдем этого человека?

– Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи – Стахович, Елена Августовна…

Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий[11] вызвал начальника спецотдела Будникова и Владимирова.

Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта[12]: он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал:

– Это вам не эсер или кадет, который токует, как тетерев. «Аполитичные» валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы: в данном случае временный риск не оправдан, это вам, – он усмехнулся, – не контрреволюционный заговор, к тем мы можем присматриваться не торопясь…

Бокий не соглашался с Уншлихтом:

– Мы возьмем десять, двадцать человек, а два уйдут. Или один. Если уж рубить – так сразу, по всем!

– Сдается мне, вы не правы, Глеб, – негромко сказал Дзержинский. – Время, когда мы из золота станем строить общественные нужники, Ильич обозначил абсолютно точно: коммунизм… Проклятие золотого тельца – штука поразительная. Когда потребность будет соответствовать способности – а это возможно, лишь когда лавки будут ломиться от товаров, здесь все

[11] Расстрелян в 1937 году.

[12] Расстрелян в 1938 году.

взаимоувязано, – тогда только золото станет обычным металлом – тусклого цвета, без вкуса и запаха. До тех пор пока золото дает возможность его обладателю иметь хлеба – я нарочито огрубляю – больше, чем всем остальным, до этой поры арестом и реквизицией власть золота не сломить. Словом, я за то, чтобы сегодня же провести операцию. Сейчас каждый час дорог. В ближайшем будущем нэп даст нам возможность выкачивать золото здесь, дома.

Облаву на подпольные «золотые центры» проводила МЧК во главе с Мессингом. Операция прошла на редкость тихо: ни перестрелок, ни попыток бегства. Люди попались все больше пожилые, респектабельные. Держались они с достоинством, только сильно бледнели и не могли подолгу стоять – просили стул, ноги не держали. А стоять им приходилось довольно долго – пока агенты МЧК делали опись захваченных драгоценностей.

Особенно много драгоценностей было изъято у бывшей фрейлины Елены Августовны Стахович. Немка – по-русски она говорила довольно слабо, и поэтому допросить ее на родном языке Бокий попросил Всеволода. Владимиров допросов вести не умел, потому что его работа в политической разведке предполагала совсем иную деятельность – то он семь месяцев служил в пресс-группе Колчака вместе с известным писателем Ванюшиным, который после разгрома адмирала ждал «штабс-капитана Максима Исаева» в Харбине, то выезжал в Лондон, то появлялся в Варшаве.

Однако сейчас время было горячее: три переводчика, служившие в ВЧК, разъехались по командировкам, а ждать их возвращения – дело нецелесообразное.

– Добрый вечер, – сказал Владимиров, предлагая женщине сесть, – у меня к вам вопросы.

– Вы – немец?

– Русский.

– Здесь работаете добровольно?

– Вполне.

Стахович держалась удивительно достойно, и это нравилось Владимирову. Ему приходилось видеть людей, которые ползали по полу, рвали на себе волосы, норовили целовать чекистские сапоги, вымаливая пощаду, а эта старуха сидела спокойно, пристально, изучающе вглядываясь в лицо собеседника.

– Итак, первое: откуда у вас эти драгоценности?

– Это фамильные драгоценности. Я не несу за них ответственности, они перешли ко мне от моих предков – российских дворян…

– Тогда извольте отвечать на мои вопросы по-русски, – резко заметил Владимиров. – Для вас понятие «русский» сугубо абстрактно, как, впрочем, и для ваших предков.

– Вы не смеете говорить так фрейлине русской государыни.

– Смею. Если бы для вас «русский» было сутью, жизнью, болью – вы бы подумали о том, сколько миллионов русских мрет от голода! А на ваши камушки можно прокормить волость!

– Не мы этот голод принесли в Россию…

– Мы?

– Вы. И та банда, которой вы служите.

Владимиров тяжело посмотрел на женщину, на ее спокойное, надменное лицо и сказал:

– «Банда» в соответствии с нормами уголовных законоположений есть группа преступников, похищающих чужое имущество с помощью убийств, грабежей и подкупов. Верно?

– Верно.

– А теперь я спрошу вас, гражданка Стахович: отчего вы мне лжете?

– Если вы посмеете продолжать в таком тоне, я откажусь отвечать. Я прожила свое, и смертью вы меня не запугаете.

– Смертью я вас пугать не собираюсь. Более того: мы вас завтра же отпустим… Но мы найдем возможность сказать людям – за нашей прессой следят и в Париже и в Лондоне, – как вы, подкупив известного нам человека, получили неделю назад в бывшем Купеческом

банке по фиктивной справке драгоценности адъютанта великого князя Сергея Александровича и сейчас тщитесь эти драгоценности выдать за свои, фамильные, доставшиеся вам в наследство от ваших дворянских предков по форме и букве закона.

– Нет! Нет! – вдруг зашептала Стахович. – Нет! Нет!

Каждое слово, произнесенное сейчас Владимировым, было правдой.

Наблюдение, установленное за Стахович после показаний Стеф-Стопанского, дало поразительные результаты: старуху увидели входящей в дом поздним вечером с чемоданчиком. Извозчик на допросе сказал, что старуха наняла его возле Купеческого банка, откуда она вышла с мужчиной. Тот пешком ушел в переулок, а старуха вернулась домой, как сказал извозчик, «на мне». Старуху взяли сразу же – она даже не успела спрятать драгоценности. Владимиров не знал лишь фамилии ее спутника, поэтому он и сказал так – «подкупив известного нам человека», рассчитывая, что после такого сокрушительного удара старуха должна будет открыться до конца.

– Да! – повторил он. – Да, да! И теперь оставим эмоции. Перейдем к делу. Адрес вашего попутчика: вы с ним вчера вышли из Купеческого банка…

– Да знаете ли вы, что такое последняя любовь женщины?! Я не открою его вам! Он прелесть, он самый нежный, он честен и быстр, как Отелло…

– Самый омерзительный для меня человек в литературе – Отелло, – ломая темп допроса, усмешливо проговорил Владимиров, – он взял себе варварское право лишать другого человека жизни, подчиняясь слепому чувству ревности… По мировому законоположению Отелло следовало бы судить как злодея…

– Вы никогда не любили…

– Любил, любил, – успокоил старуху Владимиров, – любил, Елена Августовна.

– Один из самых черных людей земли Русской – граф Толстой тоже ненавидел Шекспира.

– Спасибо, – сказал Владимиров, – за сопоставление. Сугубо горд. Но мы несколько отвлеклись в литературоведение. Вернемся к бриллиантам. Первое: адрес вашего спутника; второе: номер телефона посольства, куда вы передавали драгоценности; третье: адрес вашего маклера, который за вас играет на лондонской бирже.

Директор бывшего Купеческого банка сообщил чекистам, что на работу не вышел замзав отделом драгоценностей Михаил Михайлович Крутов – тот самый, который, как выяснилось, выдал Стахович драгоценности великого князя по липовой справке Наркомфина. Наряд МЧК, отправленный к нему на квартиру, сообщил, что Крутов сегодня утром выписался и сказал, что срочно выезжает в Киев к заболевшей сестре. По наведенным справкам, в Киеве у Крутова родственников не было.

Крутов поселился в Сергиеве-Посаде у Олега – брата налетчика и бандита Фаддейки. Олег третью неделю мучился запоем. Работал он по сейфам артистично, он их как орехи щелкал. Сейчас, правда, Олег работал мало, больше пил, спрятавшись на маленькой дачке. Место здесь было тихое.

Фаддейка приехал к брату под вечер – днем он по городу не ходил: ЧК свирепствовала вовсю.

– Вот что, – сказал ему Крутов, помешивая ножом чай в алюминиевой кружке, – тактику будем, друг мой, ломать. Не от мужчин станем идти к бабам, а наоборот…

– Ты ясней говори, – попросил Фаддейка, – а то мудришь сверх меры, я и понять не могу ни хрена.

– Сейчас, когда ЧК всех старичков с камнями хлопнула, оставшиеся немедленно уйдут на нелегалку. А ведь «все мое ношу с собой» – понял? Все камушки они станут в карманах носить. У тебя, говорил, есть сутенеры?

– Есть.

– Что у них за бабы?

– Ничего бабки, – хмыкнул Фаддейка, – сисястые.

– Сисястых ты себе оставь. Нам нужны худые, молоденькие – желательно из аристократок. На таких клюнут. Ничего не понял?

– Ничего, – ответил Фаддейка, засмеявшись.

– Ладно. Завтра сведи меня со своими сутенерами – я им сам директивы дам…

Ревельское интермеццо

Никандров затаил дыхание, когда пограничник начал второй раз листать его новенький, пахнущий клеенкой паспорт.

– По профессии вы кем будете?

– Литератор.

– Чего ж уезжаете?

«Неужели большевики снова со мной поиграли? – мелькнуло зло и устало. – Ну, что им от меня надо?! Неужели завернут в Москву? У, рожа-то какая: с веснушками и ноздри белые. Мальчишка – а уже истерик».

Но пограничник, повертев паспорт, вернул его Никандрову, еще раз подозрительно оглядел писателя с ног до головы и вышел из купе.

Никандров закрыл глаза и откинулся на плюшевую, жесткую спинку дивана.

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», – прочитал он про себя Лермонтова и сглотнул слезы. – Они меня слезливым сделали, комиссары проклятые. Правы были римляне – нет ничего страшнее восставших рабов: их свобода тиранична и слепа, а идеалы проникнуты варварством и жестокостью, потому что проповедуют они всеобщую доброту, а всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти», – думал он, прислушиваясь к тому, как пограничник стучал в соседнее купе, где ехал таинственный комиссар из Москвы, сопровождаемый двумя чекистами в коже и с маузерами.

Никандров вышел в коридор. Поначалу он решил закрыться в купе и сидеть здесь до тех пор, пока состав не уйдет за границу, но потом брезгливо подумал: «Неужели они меня сделали таким жалким трусом, что я боюсь даже их соседствующего присутствия? Совестно, гражданин Никандров, совестно». И он поднялся, по-солдатски одернул пиджак и, задержавшись взглядом на седеющем сорокалетнем человеке, криво улыбавшемся своему изображению в зеркале, резко отворил дверь.

Вагон был полупустой.

В соседнем купе командир пограничного наряда и чекисты в кожанках прощались с таинственным, приземистым человеком: глаза – маслины, касторовое пальто и тупорылые – по последней американской моде – штиблеты.

– Желаем счастливого пути, – сказал один из чекистов, пожимая руку своему подопечному, – и скорейшего благополучного возвращения, товарищ Пожамчи.

Пограничники и чекисты ушли, паровоз прогудел, лязгнули буфера, продзенькали графины в медных держалках, и поезд медленно ушел из России в Эстонию.

Пожамчи стоял возле окна, не снимая пальто, несмотря на то, что в вагоне было жарко натоплено.

Поплыли крестьянские коттеджи – дома крыты черепицей, кладка каменная, большие окна.

Никандров вспомнил Россию: подслеповатые оконца, света нет, разорение, грязь, нищета…

– И не совестно вам, комиссар? – спросил Никандров неожиданно для себя.

– Простите? Вы мне? – улыбнулся Пожамчи.

– Кому же еще! Штиблеты комиссар носит малиновые, а несчастный мужик как жил в зверстве, так и живет. На что замахнулись? Ни одна страна в мире не приходила в другую страну с униженной просьбой: «Владейте нами, земля наша обильна, а порядка нет!» Россия – приходила. А вы ее – в передовую революцию – носом, носом! А она к революции готова, как я – к деторождению!

– Да вы не волнуйтесь, – попросил Пожамчи. – Может, я…

– Что вы?! Что?! Нет революций! Честолюбцы есть! Сколько ж вы миллионов людей обманули, а?! Куда ей – грязной и нищей России – социальную революцию совершать?! Им, – Никандров яростно кивнул головой на проплывавший эстонский пейзаж, – следовало начинать, а не нам с голой задницей и горячечными татарскими инстинктами!

Никандров чувствовал, что сейчас он выглядит смешно и жалко, выкрикивая то, что наболело, но он не мог остановить себя. Он видел, что его попутчик хочет что-то возразить, но это бесило его еще более.

– Я знаю ваши возражения! Страна безграмотных рабов тщится предложить новый путь миру! Мы, не знающие, что такое метрополитен и аэроплан, замахиваемся на мощь Северо-Американских Штатов! Пьяное мужичье, сжигающее картины только потому, что они висели в помещичьем доме, собирается переделать мир! Революция – верх логического развития! Революция обязана сделать жизнь лучше той, которую она отвергла! А что ваша революция принесла?! Голод! Разруху! Власть быдла, которое мне диктует, что надо, а чего не надо писать!

Чем яростнее выкрикивал Никандров, тем улыбчивее делалось лицо Пожамчи, и он уже не прижимал к груди так напуганно толстый, свиной кожи портфель.

– Что же смеетесь-то вы?! – спросил Никандров с болью. – Над собой не пришлось бы вам посмеяться. Зло мстительно, только оно и во втором колене мстить будет, и в третьем. О себе забыли, упиваясь минутой власти, так о детях бы подумали! Не простит вам Россия того, что вы с ней вытворили, – никогда не простит, и путь ее назад, к разуму, будет кровавым, и кровь этих лет не пойдет ни в какое сравнение с той кровью, которая грядет вам за грехи ваши…

– Вы напрасно так изволите гневаться, – усмехнувшись, сказал Пожамчи, воспользовавшись тем, что Никандров раскуривал трубку. – Я, с вашего позволения, думаю так же, как и вы, и не собираюсь возвращаться в Совдепию…

– Что?!

– Да вот то самое, – как-то злорадно ответил Пожамчи, – только, судя по всему, вам это было легче – «адье, Россия!», а вот мне уехать больших трудов стоило и пребольшого риска, милостивый государь.

И, взглянув еще раз на расписание остановок, Пожамчи не спеша направился к выходу: поезд останавливался на какой-то маленькой станции. Возле вокзального здания Никандров увидел несколько саней и черный, звероподобный автомобиль – скорее всего немецкий – с номером, заляпанным коричневой грязью.

И вдруг Никандров рассмеялся. Он приседал, хлопал себя большими сухими ладонями, иссеченными резкими линиями, по коленям, задыхаясь от смеха, а потом снова почувствовал соленые слезы в горле. «Господи, – думал он, – свободен! Он – как крыса с тонущего корабля, а я – гордо! Я домой вернусь как победитель, а он – никогда!»

Проводник, протерев тряпочкой медный поручень, сказал Пожамчи:

– Здесь мы всего пять минут, не отстаньте, товарищ. Они тут по-русскому не лопочут, все по-своему…

– Спасибо, – ответил Пожамчи и, не по годам легко спрыгнув на перрон, затрусил в вокзал.

За столиком в маленьком чистеньком буфете сидело три человека. Они мельком глянули на вошедшего и продолжали молча сосать пиво из глиняных кружек.

– Милейший, – обратился Пожамчи к буфетчику, – кого здесь можно подрядить до Ревеля?

– Поезд идет, – ответил буфетчик на чистом русском, – зачем же лошадки?

Пожамчи угодливо засмеялся:

– Я чтобы в саночках. Ну-ка, стопочку мне и рыбки.

– Какой рыбки?

– А вот этой, красненькой. У красных с красненькой рыбкой плохо! – снова посмеялся он, доставая из внутреннего кармана пальто бумажник.

– Не надо вам пить, – услышал он голос сзади и почувствовал на своем плече руку.

Стало ему сразу легко-легко, и ноги ослабли, сделавшись враз ледяными и влажными. Он обернулся. Те трое, что сидели за столиком возле окна, теперь были у него за спиной: двое быстро ощупали карманы – нет ли оружия, а третий, видимо главный, по-прежнему держал руку на его плече.

– Вы кто? – спросил Пожамчи, не узнавая своего голоса.

– Пить вам не следует, а то посол запах водки учует, у товарища Литвинова нюх отменный, и будут вам после неприятности в Наркомфине у Николай Николаича, у товарища Крестинского[13]…

– Так вы наши будете?

– Наши, – ответил старший и подтолкнул его к выходу. – Вас посольские должны на следующей станции встречать?

– А что?

– Вы мне вопросами не егозите, – сказал старший, беря его под руку, – вы отвечайте.

– На следующей… А вы – вот они, даже пораньше, – залепетал Пожамчи, – и слава богу, а то я весь в страхе, поэтому и решил себе позволить для храбрости.

– Ну и хорошо… Мы сейчас к вам в купе зайдем – вы один ведь следуете?

– Именно так.

– Ну и хорошо, – повторил старший, помогая Пожамчи подняться в вагон.

«Господи, – пронеслось в мозгу холодно и стремительно, – а я ведь литератору брякнул, что в Совдепию вертаться не хочу! Господи, неужели пропал? К полиции брошусь в Ревеле, кричать стану, отобьют…»

Трое завели Пожамчи в купе – Никандрова в коридоре не было, – затворили дверь и сели на плюшевые сиденья, только старший остался стоять, чуть склонившись над испуганным человеком в касторовом пальто с зажатым в правой руке желтым портфелем.

– Сколько у вас сейчас бриллиантов?

– Если по долларовому курсу – то… Я только прошу извинить – вы мне даже мандатов не показали…

Старший обернулся к спутникам:

– Влас Игоревич, предъявите ваш мандат.

Влас Игоревич достал из кармана тупорылый браунинг и навел его на Пожамчи.

– Вот это первый мандат, – неторопливо заговорил старший, – но он слишком громкий, поэтому мы взяли и второй мандат, не так ли, Валентин Францевич?

Валентин Францевич вытащил руку из кармана коротенького казакина, отороченного серой мерлушкой. В руке у него был нож, и Пожамчи сразу же ощутил, какой он острый, этот нож, и какой холодный, хотя видел он хирургически белый кусок стали всего мгновенье: Валентин Францевич сразу же спрятал его, усмешливо глянув на гохрановского контролера.

– Так вы что ж – грабители?

– Неужели я похож на грабителя? – спросил старший. – В прошлые годы вы меня даже по имени-отчеству не рисковали, а все больше «ваше превосходительство».

– Господи, Виктор Витальевич, неужто вы?!

– Слава богу, – улыбнулся старший, – признали. Усы меня так старят или очки? Так сколько в долларах будет?

– Миллиона два будет.

[13] Расстрелян в 1938 году.

– И вы с таким-то богатством, принадлежащим республике рабочих и крестьян, деру хотели дать? Ай-яй-яй, Николай Макарыч, как совестно! Народ голодает, а вы…

– Господи, Виктор Витальевич, да я готов отдать вам половину, только…

– Не буду, не буду, – усмехнулся Виктор Витальевич, – я вас убивать не буду. Курить хотите?

– Бросил.

– Сердечко?

– Да нет, не жалуюсь. Табак дороговат.

– С вашими-то деньгами?

– Курочка по зернышку клюет, – попробовал пошутить Николай Макарыч и даже чуть посмеялся, уголком глаз посматривая на двух сидевших у двери, но Виктор Витальевич его оборвал:

– Ладно. Воспоминания кончились, времени у нас в обрез. Закурить – я один закурю. На следующей станции к вам сядут двое из посольства, чтобы камушки охранять; нам стоило большого труда опередить их, так что давайте будем кратки и серьезны. Как вы думаете, среди тех камушков, которые у вас в портфеле, моей семье что-либо принадлежит?

– Колье изумрудное и осыпь – ваша тетушка их брала у меня за тридцать две тысячи золотом весной семнадцатого, до переворота.

Пожамчи потянулся к портфелю, но Виктор Витальевич снова положил ладонь на его плечо:

– Не надо, Николай Макарыч. Не возьму я камушки, они всегда мне были ненавистны, а уж сейчас тем более. У меня к вам просьба: доставить эти камушки товарищу Литвинову в самой полнейшей сохранности. Ясно?

– Не могу понять, ваше превосходительство…

Виктор Витальевич усмехнулся:

– Да уж превосходительство, куда как превзойти мое превосходительство! Так вот, не превосходительство я и не граф, а просто Воронцов. Эмигрант. Враг трудового народа. Без родины и племени. А это очень плохо, Николай Макарыч, Воронцову быть на земле без роду и племени. Вам, торговцам, легко: для вас родина там, где можно вести куплю-продажу, а для меня родина – одна, и с ней в сердце я умру, и зовется она – Россия. И я туда намерен вернуться. Тогда и вам сызнова легче станет, и торговать можно будет камушками, и гешефт с моей тетечкой делать. И вы, Николай Макарыч, поможете мне вернуться на родину, а для этого нужно, чтобы вы по-прежнему трудились в Гохране. Вы сколько имели дохода до переворота?

– Тринадцать тысяч. По счету в банке легко проверить.

– Я не Рабкрин, проверять не стану, я вам на слово верю. Как думаете – долго еще большевики продержатся?

– Долго не смогут.

– А если еще мы поднажмем?

– Тогда повалятся, Виктор Витальевич. Только если вы серьезно будете за дело браться, попусту народ не гневить – поркой там или презреньем к простолюдинам…

– Ну, знаете, от ошибок кто гарантирован… Битые – мы умней стали. Так вот: за все годы Совдепии получите по пятьдесят тысяч золотом. Расписку давать – или на слово поверите?

– Не могу я туда возвращаться, нет сил моих.

– Николай Макарыч, я хочу быть доказательным. Слушайте меня внимательно: если вы, несмотря на мою просьбу, тем не менее решите сейчас сбежать, я сделаю так, что вас выдадут полиции: вы похитили ценности, принадлежащие не государству, нет, а нам – Воронцовым, Нарышкиным, Юсуповым. Никто у вас этих камушков не примет, а мы докажем свое, вы это знаете…

– Знаю, – вздохнул Николай Макарыч, – как не знать…

– И полиция посадит вас в тюрьму, а здешние тюрьмы ничуть не лучше московских. Даже хуже: тут амнистий не бывает, тут сроки, как и деньги, считать научены. И учтите, здешние правители так же, как мы, ненавидят кремлевских властелинов, только они еще их очень боятся и вас за милую душу выдадут Москве, провались кто-нибудь из ихних посольских дворников. Через пять минут будет остановка, и к вам придут люди от Литвинова и довезут вас прямо до улицы Пикк. Если вы по дороге вздумаете кричать и звать полицию – мои друзья помогут чекистам, которые будут вас охранять. Вы не откажетесь выполнить эту работу, Валентин Францевич?

Тот молча кивнул головой.

– Если же вы согласитесь выполнять наши просьбы, – продолжал Воронцов, – то я готов показать вам ваш паспорт – гражданина Германии. Вы его получите здесь же, после того как сделаете три-четыре рейса. Вы хоть понимаете, что у вас нет иного выхода, как принять мое условие?

– Дурак не поймет, – ответил Николай Макарович.

– Ну и хорошо. Завтра приходите вечерком в подвальчик «Золотая крона», я вас там найду. Договорились?

– Да.

– Не свирепейте, не свирепейте, – мягко улыбнулся Воронцов, – с эдаким-то богатством вы тут не справитесь – темечко не выдержит, да и порода не та – слишком уж точно свой годовой доход помните.

– Я-то бы справился, Виктор Витальевич, а вот, простите, аристократы, которые своих доходов не знали и считать не хотели, – вот они Россию-то и подвели к краху. Аристократу надобно Россию было любить платонически, а управление тем передать, кто цифру помнит.

– А ведь это программа! Глядишь, в новом правительстве мы вам пост товарища министра финансов приготовим.

– А министр – из вашего сословия – снова мне указания станет делать? Ему б лучше на бегах играть и охотой заниматься, тут слов нет – ваша возьмет…

– Полно, полно, Николай Макарыч, – ответил Воронцов, и скула его заиграла. – Мой прадед выходил под пули на Сенатскую площадь, а ведь и игрок был, и выезды держал. Мы Россию любим, а вам лишь схема важна для приложения неуемных сил. Это ежели серьезно. А если бы вы решились бежать с этими-то кремлевскими миллионами, вас бы чекисты все равно выловили. Вы должны войти в доверие, чтобы не страшились обыска на границе: тогда и Литвинову камни дадите, и себе вывезете. Сколько себе притащите – ваше дело. Мне – с каждой ездки – будете давать миллион. Себе – хоть пять, я вас контролировать не стану. До свидания. Мои друзья будут в соседнем купе – в случае чего окликните их, они помогут. Да и я неподалеку…

– Вы литератора куда-нибудь уведите, я ему – в глупости – брякнул, что из Совдепии бежал…

Трое быстро переглянулись.

– Какой литератор? – спросил Воронцов.

– Я имени не запомнил, слышал только – литератор.

– Зря, – сказал Воронцов, – как же вы так?

Воронцов достал из внутреннего кармана длинный стилет, нажал на хитрую кнопочку – остро выскочило тонкое шило – и вопросительно поглядел на Власа Игоревича. Тот протянул руку, и Воронцов отдал ему стилет.

Воронцов выходил из купе последним. Он осторожно прикрыл дверь, обернулся и выдохнул – как простонал, увидев возле окна Никандрова:

– Леня, бог ты мой! Леонид, миленький ты мой!

Они бросились друг к другу и замерли, обнявшись.

Посол РСФСР в Эстонии Литвинов медленно поднялся из-за стола и неторопливо, чуть вразвалочку двинулся навстречу Пожамчи. Он ощупал его своими холодными голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков, суховато улыбнулся и жестом пригласил главного оценщика Гохрана республики к маленькому – ножки рахитично выгнуты – столику; был он накрыт на две персоны.

– Добрались без приключений? – спросил Литвинов.

– Да! Все в порядке, слава богу, – суетливо, чересчур подобострастно улыбаясь и понимая, что со стороны это смотрится плохо, ответил Пожамчи. Ему отчего-то казалось, что этот большеголовый человек в конце беседы обязательно спросит его и о литераторе, и о беседе с Воронцовым в купе, и поэтому он чувствовал себя неуверенно, словно бы под микроскопом. Он не успел еще прийти в себя, выстроить ясную линию поведения, потому что рослые дипломаты – Хромов и Потапчук – сели в его купе через три минуты после того, как вышел Воронцов, а с вокзала сразу же отвезли в посольство и здесь, не дав ему умыться или перекусить, пригласили к послу.

– Ну, если слава богу, – усмехнулся своей странной улыбкой Литвинов, – тогда прошу вас, угощайтесь кофе.

– Благодарствуйте.

«Посадский, вероятно, – подумал Литвинов, – почему посадские так липки к политике и финансам? Ущербность самолюбия или завистливое желание стать городским?»

– На словах мне ничего не просили передать?

– Товарищ Крестинский наказывал вам поклон передать.

– Спасибо. Занятно: «наказывал» – одновременно читается и как «просил», и как «выпорол»…

– Кто выпорол? – не понял Пожамчи.

– Пока – никто никого, – ответил Литвинов, подумав: «Если бы он говорил своими терминами, то, вероятно, я бы его также не сразу понимал».

Он уперся тяжелым своим взглядом в надбровье собеседника и спросил:

– Какие-либо пожелания у вас есть? Просьбы?

– Да никаких просьб нет, товарищ Литвинов, что вы…

– Тогда позвольте мне поблагодарить вас за то благородное дело, которое вы совершили, переправив нам драгоценности. Позвольте мне вручить вам премию, – и Литвинов передал Пожамчи конверт с двумя зелененькими бумажками – по сто долларов каждая…

– Благодарствуйте, – сказал Пожамчи и не уследил за лицом – он это понял сразу же: Литвинов цепко схватил его своим особым взглядом. Видно, эта презрительная усмешка все же показала Литвинову то, что он так тщательно старался скрывать – и сегодня, и все те пять лет – с тех пор, как победила революция. Как же было ему не усмехнуться презрительно, когда у него в бумажнике лежало восемь тысяч долларов, а в портфеле, который он передаст сейчас этому холодноглазому бандиту, было почти два миллиона?!

«Все мы под богом ходим, – подумал Пожамчи. – Надо ж мне было воронцовской тетке в рост под изумруды давать?! Близкую выгоду всегда горазды видеть, а вот вперед заглянуть, там, где черненько все и костисто, – о том тщимся не думать – как кроты».

– Вы какой доход имели до революции? – спросил Литвинов.

– Доход? Я запамятовал. И в доходе ли счастье?

– Это верно. А в чем оно – счастье?

– Кто знает… – устало ответил Пожамчи. – Каждое счастье – разное, одинаковых не бывает.

– Тоже верно, – согласился посол и поднялся.

Пожамчи протянул ему портфель:

– Вот тут… Все… Вы будете принимать или кто из помощников?

– А что же принимать? – Литвинов пожал плечами. – Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть. С первой же эстонской станции.

Пожамчи снова похолодел и, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот не мигая смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило: «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори…»

– Почему? – невпопад спросил Пожамчи. – Зачем же уходить? Я и не держал такого в мыслях…

Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо бы делать, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя.

Зеленые, сине-белые, красно-дымчатые камни легли на стол, и, – странно, отметил для себя Литвинов, – стол сразу же стал иным, тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым, переливным, звездным светом, и длилось это всего мгновение, а после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным – в таинственном, сокрытом от человеческого понимания качестве: он вбирал в себя свет навсегда – прочно и жадно.

– Любите камни? – услышал Пожамчи голос посла. Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно слышать этот голос, потому что он был сух и обычен, а Пожамчи, разглядывая камни, всегда говорил шепотом – как в храме божьем.

– Как же их не любить? – ответил он. – Тут за каждым камнем – история.

– Вот этот, например, – спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому серо-голубому жемчугу. – Он же бесцветный и неинтересный…

– Жемчуг умирает, если не чувствует тела рядом с собою. Камень стал таким жухлым оттого, что пролежал пять лет в хранилище. Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот смотрите. – Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. – Видите? Камень начал розоветь. Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты – из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстуке, у вас никогда не будет сердечных болей… Эти изумруды из Саксонии, их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр Первый… А после они были в руках людей моей профессии – поэтому, верно, и сохранились; мы ведь молчуны – как все влюбленные…

Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине Ревеля. Домик был деревянный; пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин, Ганс Саакс, плавал в Америку на «торговцах» и с тех далеких пор «заболел» морем: дома у него лежали просмоленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные, далекие запахи парусников прошлого века; топили дом, как и повсюду в Эстонии, сланцем, поэтому Воронцов, помогая Никандрову раздеться и сбрасывая свое легкое пальтецо, сказал:

– Располагайся, Ленюшка, я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу, по-фронтовому.

– Я тебя стеснять не стану, Виктор, я в отель двинусь: там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться.

Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно-красивым.

– Ну-ну, – сказал он. – Денег-то у тебя сколько?

– Денег нет… Так, мелочь, долларов двадцать… Зато я привез рукопись нового романа.

Воронцов достал из маленького шкафчика водку, пару крутых яиц и круг ноздрястого, ярко-желтого сыра.

– О чем роман?

– О декабристах.

Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил:

– А кому здесь декабристы нужны?

– Ох уж этот скепсис российский!

– Ну-ну, – повторил Воронцов и разлил водку по стаканам.

– Граненые, – заметил Никандров, – как у твоего егеря в Сосновке.

– У Елизарушки, – сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло, – как-то сейчас старик? Любил он меня и верен был исступленной верностью – такая есть только у русских егерей. – Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил: – И жен.

– Но уж если они изменяют – и жены и егеря, – тоже по-русски: до одури и безжалостно.

– В том, что произошло с Верой, повинен я.

– Я не о Вере… Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал… штопором…

– Этого быть не может, Леня. Сейчас невесть что про человека скажут – просто так, скуки ради…

Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке, – обросший, седеющий, в рванье, – кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора! Он сам видел, как Елизарушка рвал на тощей своей, с выпирающими, угластыми ключицами груди рубаху и кричал: «Попили нашу кровушку, паразиты! Хватит!»

– Может быть, ты прав, – ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие, расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие, несвежие обои, плохо покрашенный пол; под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета.

– Ну, за встречу, Леня.

Они молча выпили.

– Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был…

– Не завидуй, Виктор. Ты здесь, у себя в ко… – Никандров осекся было, но Воронцов помог ему:

– В конуре, в конуре, ты не щади, Леня. В конуре. Как пес. Хотя мои псы в доме жили, под библиотекой, помнишь, ты раз там уснул на святки вместе с борзой… Как ее? Лизавета, кажется. Верно, мы ее из Джерри перекрестили… В конуре, Леня… Ну, еще? В угон хорошо ляжет стакашка.

– Погоди, продам роман, и махнем в Париж, там наших полно.

– В Берлине больше.

Они выпили еще по стакану. Воронцов длинноного, складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери.

– Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. У меня теперь хозяин. Я у хозяев живу, Леня.

Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким – на английский манер – демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуворишам, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение.

«А ведь великолепно держится, – думал Никандров, – потеряв все, что можно было, он сохранил самого себя, достоинство. Поэтому победит. Мы гибнем, когда вступаем в сделку

с собою. За этим зорко смотрит царь-случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволия и напора, верности и предательства. Оступись – в себе самом, наедине со своим истинным «я», уступи злу хоть в толике – и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой его величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как бог. Его надо свято, духовно бояться; только такой страх может обуздать дьявола в человеке».

Спустившись к хозяину, Воронцов спросил:

– Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом?

– Та, пожалуйста, только не очень толго…

Воронцов позвонил в редакцию газеты «Ваба сына» и попросил к аппарату господина Юрла.

– Добрый вечер, Карл Эннович, это Воронцов.

– Добрый вечер, граф.

– Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров.

– Ко мне? – удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. – Я его не приглашал. Видимо, он прибыл к вам, а не к нам…

– Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики, он – один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в «Золотую крону» – Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России.

– Мы в общем-то догадываемся, что происходит в России.

– Но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину.

– Понимаю, понимаю… Поить будете?

– Водкой напоим.

– Видите, какой я стал грубый материалист после того, как на вашей родине победили материалисты? – посмеялся Юрла. – Нельзя отставать от времени.

– К десяти ждем.

Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного, беззвучного смеха.

В редакции двух русских газет – «Последние известия» и «Народное дело» – звонить было рискованно. «Последние известия» более тяготели к платформе кадетов, а «Народное дело» являлось органом социалистов-революционеров. Газеты эти не имели здесь веса, а Воронцову хотелось привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной, безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому ни редактору «Последних известий» Ляхницкому, ни Владимиру Баранову, ведущему критику «Народного дела», Воронцов звонить не стал. А редактору Вахту он попросту звонить не мог – эсер ненавидел его.

«У нас всегда так, – подумал он, листая записную книжку, – когда иностранцы проявят интерес – тогда и свои зашевелятся. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова – сразу начнут нос воротить: одни за то, что он был недостаточно левый, другие – за то, что не слыл крайне правым… Нет уж – пусть здешние о нем шум подымут, тогда наши начнут – без моей на то просьбы».

– Ян? Здравствуйте, – сказал Воронцов, вызвав следующий номер. – У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в «Золотую крону» к десяти: из Москвы приехал Никандров.

– Кто это?

– Ваш коллега – писатель. Он умница и прелестный парень. Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию: пресс-конференция, которую ведут поэты, – сама по себе сенсационна.

Обернувшись к Сааксу, Воронцов снова потер пальцами холодные, гладко выбритые щеки и сказал:

– Ганс Густавович, а теперь просьба. Ссудите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок.

– Не моку, друк мой. Никак не моку.

– Я всегда был аккуратен… Пять тысяч – всего пятнадцать долларов…

– Та, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек – это вы. Иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я? Не обижайтесь, господин Форонцоф, но каждый человек должен иметь свою цель.

– Вы правы… Можно позвонить еще раз?

– Та, та, пожалуйста, я же отфетил фам.

Воронцов чуть прикрыл трубку рукой:

– Женя, это я. Приехал Никандров. Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с… Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших, и приходите к десяти в «Крону». Если сегодня Замятина, Холов и Глебов не заняты в кабаре – тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни и о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?

Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал:

– Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно. Как?

– Та, но уже фсе юфелиры закрыли торковлю.

– Что же я – медь на пальце ношу?

– Почему медь? Не медь. Я понимаю, что фы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки и потом начинается рефматисм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным.

– Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю – вы его продадите за двадцать тысяч.

– Ох, какой хитрый и умный, косподин Форонцоф, – посмеялся Саакс, доставая деньги, – и такой рискофанный. Разве можно оставлять в заклат любовь?

– А вот это уже не ваше дело.

– До сфиданья. И не сердитесь, я шучу. Кстати, к фам зфонила женщина, которая зфонит поздно фечером.

– Что она просила передать?

– Она просила сказать, что состояние фашего друга ухудшилось.

– Резко ухудшилось?

– Та, та, ферно, она сказала – «резко ухудшилось». Она просила фас зайти к нему секодня фечером.

– Мне придется еще раз позвонить, – сказал Воронцов и, не дожидаясь обстоятельно-медлительного разрешения Саакса, вызвал номер и по-немецки, чуть изменив голос, сказал: – Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи.

– Да, господин, я оставлю записку нашей гостье.

– Не надо. Вы передайте ей на словах.

– Хорошо, господин, я передам на словах.

– Прости, я задержался, – сказал Воронцов, поднявшись к себе, – почему ты не пил без меня, Леня?

– Один не могу.

– Значит, гарантирован от алкоголизма.

– Это верно.

– Тут вокруг тебя начался ажиотаж: пресса, поэты.

– Пронюхали? Откуда бы?

– Щелкоперы – труд у них такой, да и ты – не иголка в стоге сена. Голоден?

– Видимо – да, только я голода не ощущаю.

– Смена белья есть? Не вшив?

– Я прошел санпропускник, а смены белья нет. Куда-нибудь двинем?

– Сорочки посвежей нет? Галстуха?

– Ничего, из Москвы приехал – не из Вашингтона.

– Если бы ты приехал из Вашингтона – сошло бы, а поелику из Москвы прибыл – швейцар не пустит в кабак.

– Кого?

– Нас. Вернее, тебя, я при галстухе.

– То есть как это прогонит? Что он – член Совдепа?

– Совсем даже нет, – ответил Воронцов, доставая из чемодана, спрятанного под кроватью, туго накрахмаленную сорочку, – он очень Совдепы не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои парии и патриции, рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное, особое самоунижение. Он клиента ненавидит – тяжело ненавидит, а весь в улыбке, почтении, нежности, дозированном панибратстве. Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас – до переворота. А по счету платить им некому, так они жеребцам глаза… Штопором…

Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо.

– Здешняя индустрия лакейского унижения поразительна, – продолжал Воронцов. – Она предполагает восемь часов рабства и шестнадцать часов тайной, могущественной свободы. Лакеи скоро начнут создавать свои клубы – поверь. Ну, с богом. Давай на дорожку еще по одной… Галстух не в тон, но, прости, у меня только два.

– Неужели ты ничего не взял с собой из дома, Виктор?

– Бриллиантов взял тысяч на сто…

– Сильно пил?..

– Я, Леня, помогал. Сначала Антону Иванычу Деникину, потом поехал в Омск – адмиралу передал все… Помнишь корнета Ратомского? Умер с голода в Шанхае, а была вакансия – лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови: гонора в нем было преизбыточно… Я ведь, лакействуя, накопил в клубе денег на дорогу в Европу… Ваш сия, прашу…

– За тебя, Виктор, – поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. – За твое сердце и за мужество твое.

– Полно, Леня… Полно… Это все полезно – что было. За одного битого двух небитых дают.

Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки – поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров наконец спросил:

– Неужели никто из наших не мог тебе помочь?

Воронцов ничего не ответил, только усмехнулся.

– Дорогу, Леня, запоминай, – сказал он наконец, – тебе одному придется возвращаться, у меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь.

– Я помешаю тебе?

– Нет, я к себе никого не вожу…

– Совестишься конуры?

– Господи, что ты!.. Я не из купцов все-таки… Нет, тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди, – дома по-прежнему страшно? Как в восемнадцатом?

– По мне – стало еще хуже. Мужик доведен до полного изможденья… Что им наша деревня… Ты им подай городской пролетариат… Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтоб заводы строить – по ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества…

> «Ревель. Роману.
>
> Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника, подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт.
>
> *Бокий».*

Расстановка сил

Глава эстонского государства Пятс быстро пошел навстречу Литвинову по толстому ковру, который скрадывал звук шагов.

Поначалу ковра не было, и идти навстречу послу приходилось через громадный зал, а паркет здесь был выложен какой-то особый, невозможно гулкий, и президент смущался того солдатского грохота, который шлепал гулким эхом по углам зала, хотя он старался мягко ступать на носки.

– Здравствуйте, господин президент…

– Здравствуйте, простите, что я задержал вас…

Пятс выждал паузу, думая, что Литвинов ответит нечто обязательное в таком случае, вроде «я понимаю вашу занятость», но посол ничего не ответил, пауза затягивалась, и президент, протянув левую руку, указал на два кресла возле камина:

– Прошу вас.

– Благодарю.

Литвинов набычил голову – она сейчас показалась президенту громадной, больше туловища посла, – чуть подался вперед и заговорил:

– Несмотря на наши неоднократные просьбы, полиция Эстонии не предприняла никаких шагов против тех бандитских групп, которые, базируясь в Ревеле, совершают нападения на города и населенные пункты, расположенные в РСФСР, и занимаются там грабежами, убийствами и насилиями.

– Пожалуйста, факты, господин посол. Бездоказательность в таком вопросе может быть трактована лишь как попытка вмешиваться в наши внутренние дела.

– Я думаю, если мы станем приводить факты, то картина получится обратная. Не мы вмешиваемся, а в наши внутренние дела вмешиваются: с территории Эстонии в Россию перебрасываются бандгруппы; здесь они находят покровительство.

– Я вынужден повторить: базой для обсуждения этого вопроса могут быть лишь строго документированные факты.

Литвинов достал из кармана пиджака несколько листочков бумаги. Он доставал их медленно, неуклюже, и делал он это продуманно и весело: президент никак не думал, что посол привезет официальный документ в кармане, а не в папке. Посол позволял себе шутить – иногда рискованно, но всегда точно и беспроигрышно.

Раньше – и в ссылке и в эмиграции – у Литвинова было отстраненное представление о дипломатии. Это представление невозможно изменить до тех пор, пока человек сам не станет дипломатом. Только тогда он поймет, что дипломатия есть одна из форм международной торговли, а та в свою очередь похожа на обычную торговлю, а в моменты наибольшей опасности для мира напоминает торговлю базарную, где побеждает самый спокойный, сильный и обязательно честный: плохим товаром морду извозят и опозорят надолго вперед – не поднимешься…

Литвинов многому научился у Чичерина, Красина и Воровского.

Манера этих людей была великолепна: чуть суховата, без всяких эмоций – карты на стол, дело есть дело, никакой суетливости и высокое чувство самоуважения: представлять следует не какую-нибудь державу, а первую в мире – социалистическую.

Литвинов как-то сказал замнаркома Карахану:

– Я убежден, что мы рано или поздно придем к решению важнейшей проблемы. Мы еще к ней не подошли, и как к ней подойти – вопрос вопросов, тут можно таких дров наломать, – я имею в виду проблему вытравления из сознания российской интеллигенции чувства собственной второсортности.

– То есть? – не понял Карахан. – Это отдает великодержавным шовинизмом.

– Отнюдь нет, – возразил Литвинов, – это если уж и отдает – то национальной гордостью великороссов. Я обожаю Байрона, но ведь Россия дала миру Пушкина! Мопассан? Великолепно, но у нас Чехов! Флобер, Золя, Диккенс? Верно, без них нет мира. А без Толстого, Достоевского, Тургенева, Щедрина, Лермонтова? Верди?! А Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский? Как без них жить?

– Вы заметили, – усмехнулся Карахан, – наша революция пробудила и во мне, армянине, и в вас, иудее, высокое чувство социалистического великороссийского патриотизма?

– Заметил, – согласился Литвинов, – а потому во время переговоров ноги на стол, естественно, класть не следует, но надо всегда помнить, что мы живем под шатром великой российской культуры, мощнее которой, пожалуй, нет в мире… А то мы шведу какому-нибудь или голландцу ручку трясем и улыбку строим лишь потому, что он и у себя дома – иностранец.

…Достав из кармана листочки бумаги, Литвинов расправил их на коленях и начал неторопливо читать.

– «Пятого, двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и двадцать третьего февраля 1921 года совершено двенадцать попыток нарушения госграницы, причем во время перестрелки, состоявшейся двадцать третьего февраля, ранено два советских пограничника и один эстонский. Во время перестрелки второго марта был убит русский белоофицер штабс-капитан Петр Васильевич фон Бромберг. При убитом была обнаружена крупная сумма денег и пачка поддельных советских документов. В Ревеле фон Бромберг проживал вместе с лидером белых монархистских бандгрупп графом Воронцовым. О том, где проживают и где встречаются представители эмигрантских бандгрупп, посольство РСФСР уведомило соответствующие органы Эстонии еще четырнадцатого февраля сего года…»

Литвинов продолжал читать свой документ, опровергнуть который не мог никто, а президент, слушая его, горестно и тяжело думал: «Наша вина заключается лишь в том, что мы – маленькая страна. Как же трагична роль малых стран в этом большом мире. Кого винить в том, что мы поселены богом на этой каменистой, прекрасной, неплодородной, но такой дорогой нам земле?»

Когда Литвинов закончил чтение документа, президент закурил и минуту сидел недвижно, смежив веки…

– Я дам указание разобраться во всем этом.

– Министр иностранных дел давал три указания, однако бандиты продолжают спокойно жить в Ревеле и встречаться, и мы знаем, где они встречаются и о чем они, встречаясь, говорят.

– Мы живем по своим законам, господин посол. Полиции нужны неопровержимые улики… Иначе мы не сможем предпринять против агрессивной части русской эмиграции те шаги, которые вы подразумеваете…

– Правительство уполномочило меня довести до вашего сведения, что оно не намерено более терпеть подобного рода вылазки, проводимые с территории государства, с которым мы поддерживаем дипломатические отношения.

– Но вы, надеюсь, понимаете те трудности, которые стоят перед нами? Вы, лично вы, живущий здесь…

– Я не научился отделять мое мнение от мнения моего правительства, господин президент.

– Что же нам – ЧК вводить, чтобы изолировать русскую эмиграцию?!

– Я не уполномочен давать вам советы. Это можно расценить как вмешательство в ваши внутренние дела. Но я хотел бы, чтобы те уважаемые господа, которым вы поручите это дело, с должным вниманием отнеслись к тому, что правительство РСФСР не намерено далее терпеть подобного рода акты со стороны русских бандгрупп при попустительстве эстонских властей…

– Я понимаю эти ваши слова…

– Это не мои слова, господин президент, – жестко поправил его Литвинов.

– Ваше правительство угрожает нам интервенцией?

– Мы никому не угрожаем. Убивают наших пограничников, попирают наши границы, в местной прессе подвергают беспрецедентным нападкам мою страну и ее лидеров – конец всякому терпению чреват действием!

– Но я же не могу издать приказ об аресте всех этих русских, господин посол! Войдите в мое положение! Меня не поймет мой народ!

– А мое правительство не поймет мой народ, если и дальше будут продолжаться подобные эксцессы на границе.

– Я не могу не отметить, господин посол, что ваша позиция неразумно жестока.

– Вы говорите о жестокости моего правительства? Того, которое дало вам свободу и независимость? Того, которое выступило против колониализма царя? Того, которое гарантирует вам свободу и безопасность от немецкого вторжения? Свободой, которая не завоевана, но получена из других рук, надо уметь уважительно и целенаправленно пользоваться, господин президент.

– Вы имеете в виду географическую, вынужденную целенаправленность? – горько улыбнулся президент.

– Географическая, этническая и историческая целенаправленность никогда не бывала вынужденной; она всегда была разумной в этом мире, четко разграничившем самого себя, – ответил Литвинов и вручил Пятсу ноту НКИД.

> «До нашего сведения дошло, что противники Российского Советского правительства, не отступающие в своей борьбе против него перед самыми гнусными провокационными приемами и преступлениями, подготовляют в Латвии покушения на членов латвийского правительства, на иностранных представителей и на членов иностранных миссий. Одновременно с покушениями предполагается выпустить подложные прокламации от имени Коммунистической партии с заявлением о том, что эти покушения служат ответом на репрессии против коммунистов. В связи с этим предполагается также начать кампанию в печати, обвиняя Российское Советское правительство в том, что оно якобы является инициатором этих покушений. Таким путем имеется в виду создать подходящую атмосферу для агрессивных действий со стороны иностранных держав против Советской России. Подобные же методы будут, вероятно, применены и в других государствах… Из числа русских эмигрантов непосредственными участниками этих планов являются монархические круги. В связи с этими известиями российским полномочным представителям в Латвии и других соседних государствах поручено предупредить их правительства об этих преступных планах».

…После ухода Литвинова глава государства попросил секретаря срочно вызвать для беседы британского посла.

Всякая закономерность случайна в такой же мере, как любой случай закономерен. Сцепленность заинтересованностей держав, концернов, партий, будучи рассмотрена на расстоянии, явит собой картину логически безупречную и четкую. Однако если персонифицировать историю, то обнаружатся такие подспудные обстоятельства, которые, казалось бы, противны здравому смыслу. На первый план в этом случае могут выйти личные симпатии и антипатии, возрастные явления; те или иные повороты истории будут определены не столько ходом объективного развития общества, сколько разностью темпераментов противостоящих друг другу лидеров; пустая мелочь может оказаться решающим фактором – даже насморк, когда человек

испытывает раздражение оттого, что льет из носу и платок мокрый, да и сморкаться беспрерывно в присутствии контрагентов – особо если речь идет о межгосударственных переговорах – не с руки, а еще, упаси бог, кто посмеется – ущемленность и зажатость в лидере подчас куда опаснее той доктрины, которую он проводит в жизнь, как бы на первый взгляд эта доктрина ни была жестка и бескомпромиссна…

…Жена шофера британского посла, маленькая, все еще хорошенькая, но уже начавшая увядать, устроила сцену ревности мужу своему Курту, который с громадным трудом получил место в посольстве и теперь всячески пытался зарекомендовать себя старательным и преданным работником. Беспочвенная ревность, крики жены, заинтересованность соседей по дому – все это вывело Курта из себя: он больше всего боялся, что о его домашних скандалах узнают в посольстве.

– Я же во имя семьи работаю день и ночь, – закричал он, – я хочу, чтобы и ты и мальчики были всем обеспечены! Мне с тобой некогда поспать – не то чтобы с другой! Устаю я, понимаешь?! Устаю!

– Ты не смеешь меня попрекать! – отвечала ему жена. – Я не попрекаю тебя тем, что стираю твое белье и готовлю обед!

Словом, когда Курт вез жену посла от антиквара, у которого был куплен уникальный сервиз семнадцатого века, из переулка выскочила повозка, и Курт – обычно хладнокровный и расчетливый – сейчас, будучи взбудоражен домашней сценой, резко взял на тормоза, сверток с сервизом упал, и три чашки разбились. Супруга посла, естественно, ограничилась сдержанным замечанием – нельзя ронять достоинство перед шофером, но с мужем она вела себя совершенно иначе – если ломать себя даже с близкими, то как тогда жить?

– Вы могли бы выписать шофера из Лондона, – говорила она нервно, – эти животные не в состоянии управлять автомобилем, им надо ездить на коровах!

– Вы же знаете, дорогая, – ответил посол, – что смета, отпущенная министерством, до крайности мала, – мой дворецкий тоже эстонец, а я очень хотел бы видеть на его месте нашего ливерпульского Ховарда…

– Вы можете нанять британского шофера и платить ему из наших личных денег…

– Но тогда, дорогая, вы не сможете покупать саксонские сервизы и ежегодно ездить в Канны.

– Это не по-джентльменски, дорогой, упрекать меня поездками в Канны…

– Вы путаете, дорогая, понятие упрека с констатацией факта.

– То, что вы сейчас сказали, безнравственно. Я не смею упрекать – ваши шотландские предки больше интересовались торговлей ячменной водкой, чем вашим будущим…

К президенту посол прибыл – как его и просили – незамедлительно, не успев успокоиться, внутренне продолжая вести язвительный диалог с женой, которая оказалась столь холодной и жестокой, что посмела упрекнуть его шотландским происхождением.

Президент проинформировал посла Его Величества о беседе с русским и спросил:

– Можем ли мы рассчитывать на быстрый и эффективный демарш со стороны Лондона?

– Я не могу ответить вам, господин президент, не запросив об этом правительство Его Величества.

– Меня в данном случае интересует ваша точка зрения.

– Но и в Лондоне я живу не на Даунинг-стрит, – ответил посол и сразу же понял, что говорит он с президентом совсем не так, как следовало бы, и он понял, что говорит так из-за обиды на жену, и это ущемило его еще больше, ибо он осознал, что страдает изъяном, недопустимым для дипломата, – эмоциональностью, – и поэтому, стараясь как-то сгладить свою непростительную резкость, сказал: – Я немедленно отправлю телеграмму в Лондон со своими рекомендациями.

Глава государства не мог, естественно, знать о том неприятном объяснении, которое только что было дома у посла Его Величества. Но он знал о том, что в Лондон прибыло несколько русских высокопоставленных большевистских чиновников, которые ведут беседы с представителями серьезных деловых кругов Великобритании. И президент предположил, что в Лондоне намечается определенный поворот в сторону смягчения отношений с красными. Поэтому, простившись с послом, он пригласил к себе министра внутренних дел Карла Эйнбунда и предложил ему сегодня же арестовать нескольких русских эмигрантов: эта акция давала возможность – хотя бы на ближайшее время – отводить все возможные нападки Наркоминдела, ссылаясь на то, что группа эмигрантов арестована и ведется следствие, о результатах которого будут проинформированы все заинтересованные стороны. Президенту очень понравилось – «все заинтересованные стороны». Это многозначительно, но дает повод к двоетолкованию, а в политике есть только один выигрыш: когда тот или иной абзац, порой слово, дают возможность разных толкований, ибо всякие толкования предполагают беседу за столом, а не перестрелку в окопах.

В Ревеле ночью

– Господин Никандров, позвольте поблагодарить вас за интересный, трагичный реферат о положении у нас на родине, – сказал Евгений Андреевич Красницкий, давнишний друг Воронцова по армии, – желаю вам поскорее включиться в наше общее дело, мы от души вас приветствуем.

Вместе с ним пришли еще три человека – те были молчуны; они лишь пили вместе со всеми, когда Воронцов или Красницкий предлагали тост. Ян Растенбург привел двух молодых ребят: один аккуратен, гладок, сливочен – переводчик и поэт Иван Хэйнасмаа, а второй, нечесаный, Хьюри Лыпсе – популярный поэт и актер. Поначалу поэты помалкивали, яростно налегали на водку и бутербродики, посматривали в зал – видимо, ждали прихода Юрла, чтобы начать свою партию уже в присутствии газетчика.

В баре было дымно, шумно, весело. Люди собирались здесь разноплеменные, странные: и моряки, и спекулянты, и богема, а порой близкие к правительственным и дипломатическим кругам субъекты, понять которых почти невозможно: то ли он завтра сядет командовать департаментом, то ли за ним и здесь ходят тайные агенты полиции, подбирая в досье последние крупицы доказательств, чтобы наутро, негромко постучав в дверь, увезти в тюрьму, а там – на острова или еще куда подальше.

Воронцов смотрел на Никандрова влюбленно. Он преклонялся перед его чуть холодноватым, аналитическим талантом, да и потом, с этим человеком были связаны самые дорогие ему воспоминания: и охота, и споры за вечерним чаем в Сосновке о судьбах мира, об истории России, и бега – словом, все то, что нынче ушло, судя по всему, безвозвратно.

Никандров, чувствовавший себя поначалу скованно – сказались годы революции, самоконтроль, страх, что донесет кто-нибудь из соседей, услыхав неосторожно сорвавшиеся с языка слова, – теперь разошелся и даже вел себя несколько развязно: сидел, бросив ногу на ногу, чересчур небрежно и сыпал остротами, подчас чрезмерно грубоватыми. Воронцов понимал его; он считал, что это вызвано внутренним раскрепощением, которое чаще всего бесконтрольно.

Юрла пришел не один: с ним был секретарь редакции «Постимеес» Лахме с беспутно-красивой, видимо уже чуточку пьяной, актрисой варьете «Вилла Монрепо» Лидой Боссэ. Была она популярна в Ревеле: голос у нее был хрипловатый, низкий, и песни она пела какие-то странные – занятная смесь французских с цыганскими; поначалу смешно и непривычно, а после мороз дерет по коже. Про нее говорили, что она берет громадные деньги за ночь с капитанов или стариков промышленников; это давало ей возможность быть независимой и не принадлежать какому-то одному покровителю.

Увидав Лиду, Никандров подобрался, лицо его сделалось еще более выразительным, резче обозначились скорбные морщины вокруг рта. Лида села близко к нему; пахнуло горьковатыми духами, и стало ему тревожно и счастливо.

Волосатый, нечесаный Хьюри Лыпсе, переждав, пока все, обменявшись рукопожатиями и шумными приветствиями, выпьют, спросил:

– Господин Никандров, в чем вы видите долг литератора?

– Дело литератора – литература.

– Афоризмы я могу прочитать у Ларошфуко, – отрезал Лыпсе, – меня интересует ваш ответ.

– Как-то совестно мне отвечать на такие выспренние вопросы, – ответил Никандров, закуривая. – Я, впрочем, попробую ответить… Щедрин писал своему сыну…

– Кто такой Щедрин? – перебил его Лыпсе.

– Это гениальный русский писатель, великий национальный писатель. Он для нас как Кон Фу-ци – для Китая, Рабле – для Франции… Так вот, он писал своему сыну, что нет на свете более почетного призвания, чем призвание литератора российского… Преклоняясь перед Щедриным, я тем не менее вынужден опровергнуть его. Кто и почему отметил литератора среди людей знамением заступника и доброго судии? Почему некий избранник должен быть заступником? А если народ не хочет, чтобы за него заступались? Да и что такое народ? Необъятность понятия всегда давала возможность появлению тиранов, логика которых конкретна и ограниченна. Почему мы должны делить мир на пассив – народ, который безмолвствует, и актив – литератора, который призван бить в колокола? А вдруг честолюбец, начав звонить в колокола, порушит устоявшееся? Но что он предложит взамен? Разрушение упоительно – вспомните игры детей, а вот как быть с созиданием?

– Значит, по-вашему, – удивился Лыпсе, – не следует звать людей к борьбе против нищеты и неравенства?

– В России вы можете набрать миллион образчиков того, что случилось после начала всеобщего зова к равенству…

– Пусть вначале будут издержки – все равно эта идея манит людей.

– А вы не большевик, Лыпсе? – спросил Красницкий.

– Вы его не пугайте, – попросила Лида Боссэ, – не надо. Каждый должен говорить то, что думает.

– Если бы этот ваш совет был принят за основу большевиками, – обернулся к Лиде Никандров, – я бы записался в их партию…

– А они в партии говорят все, что хотят, – не унимался Лыпсе, – они все время ведут друг с другом дискуссию.

– Друг с другом – может быть, – ответил Никандров, – а со мной они не дискутируют. Да и с вами не будут: поставят к стенке – и точка.

– Может быть, они правы: они хоть что-то делают, они хоть во что-то верят, а вы предпочитаете стоять в стороне…

– Вы забываетесь, Лыпсе, – снова поднялся Красницкий, – господин Никандров совершил акт высокого гражданского мужества – он бежал от рабства Совдепии, он покинул самое дорогое, что у человека есть, – родину.

– А зачем же ее покидать? Не нравится, что происходит на родине, – сражайся с этим! Бежать всегда легче.

– Видите ли, – увидев побледневшее лицо Воронцова, медленно заговорил Никандров, – в том, что вы говорите, есть нечто здравое. Вы, правда, судите со стороны, ибо для вас Россия – понятие абстрактное… А для нас это родина. У меня там остались друзья – в земле… Кого расстреляли, кто умер с голода, кто пустил себе пулю в лоб. Бороться с народом, который, веруя, творит ужас и хаос? Допустимо ли это для литератора? Может быть, в данном случае позиция пассивного отстранения будет порядочнее? Я мог бы писать прокламации – льщу себя надеждой, что молодежь прислушалась бы ко мне. Но пристало ли писателю усугублять кровь и вражду? Может быть, сейчас важнее другое: отстранившись, наблюдать процесс и чувствовать себя готовым в любую минуту прийти обратно, когда – не народ, нет – когда те, кто народом пытается править, поймут, что без российской интеллигенции ничегошеньки сделать невозможно, что она, интеллигенция, вынесла на своих плечах все бремя борьбы с тупостью администрации, что она, интеллигенция наша, и в народ ходила, и знание несла в самые отдаленные уголки, и на каторгу шла с гордо поднятой головой, а ведь эти самые каторжники – дети генералов, банкиров, сановников – могли прожигать время в своих усадьбах да по Ниццам разъезжать, – вот когда все это народоправители поймут, тогда надо будет вернуться домой. А сейчас – что же… Я за то, когда – «молодо-зелено», но я против того, когда «молодо-кроваво»…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.